Крепко спится летним утром в деревне! Ух, как богатырски спится! Ни отчаянное кукареканье молодого кочета, ни глухое мычание коров, отправляющихся на выпас, позвякивая боталами, ни лай дворового пса, ни гомон лесных птиц – ничто не может потревожить детский здоровый сон! Звуки, как сигналы из космоса, безнадёжно пытаются прорваться сквозь непроницаемую прозрачную стену сновидений, но, так и не преодолев её, тонут в объятиях утренних июльских грёз, угасают в благодатной тишине и прохладе деревенского рубленого дома.

Мы с братом ещё мерно сопим в своих кроватках, а отец, чуть солнце взошло, встаёт косить. На нём – шахтёрское обмундирование: застиранная белая исподняя рубаха с небольшими прорехами, тёмные плотные брюки со стёганым поясом, подбитые двойными заплатами на коленях и ягодицах, и, конечно, резиновые сапоги. А как без них? Сапоги хоть и не дают ногам дышать, но надёжно защищают от случайных порезов и укусов змей. Их голенища всегда вывернуты наизнанку, иначе никак не вместить в стандартный размер отцовские могучие икры, на одной из которых – застарелый шрам.

Я точно знаю, что под чёрной резиной – мягкие байковые портянки. Их одним махом, посолдатски выверенно, отец обернул вокруг каждой ступни. Этот нехитрый набор движений я видела сотни раз, но никогда не подозревала, насколько родным, но безвозвратно утерянным и далёким окажется он спустя тридцать лет…

Вторая пара портянок – про запас; висит себе на заборе, готовясь к вечернему покосу. Им ещё придётся скопить и уплотнить в шероховатые валики пыль и травяную труху, семена таёжных растений, отцовский пот и даже мелких улиток. Но ноги при этом останутся поразительно чисты! И когда косарь, с трудом освободив их от духоты и волглости резинового плена, ступит по мягкой траве, они будут казаться мраморно-розовыми, почти новорожденными…

На голову отца, когда-то черноволосую и кудрявую, надвинут по самые веки хлопчатобумажный платок. Точнее, большой кусок старой простыни. Сперва и не различишь, кто там косит: мужик или баба? Ткань полностью обволакивает его голову, короткую мощную шею и «медвежьи» плечи, защищает от мелкого гнуса. Но, когда во время работы плат съедет или полностью пропитается отцовским потом, мошка всё-таки доберётся до обнажённых мест и изъест шею и лицо так, что они опухнут и нелепо заплывут, покроются мелкими капельками крови.

«Вжи-и-и-ик! Вжи-и-и-ик! Вжи-и-и-ик! Вжи-и-и-ик!» – слышу я сквозь сон монотонный звук и

представляю, как грузная коренастая фигура отца размеренно и плавно ступает по косогору. Впереди него, изгибаясь и звеня, словно дирижёрская палочка, летает ловкая литовка: «Ле-ло-ли!». Движения косаря пышут мощью и той молодецкой силой-удалью, которая присуща русским богатырям и которой, кажется, не могут противостоять даже природные стихии. Он идёт медленно и тяжело, увлекая за собой крупные охапки, отвоёвывая свободное пространство у разбушевавшегося разнотравья. Каждый шаг, словно выдох и вдох: «Вжи-и-и-и-к! Вжи-и-и-и-к!». Просторы деревенского покоса раздвигаются, повинуясь размашистой поступи отца и грозному требованию литовки, и непокорная трава вперемешку с луговыми цветами с поклоном рушится к ногам богатыря.

Крепко стоит он на косогоре, будто Илья Муромец, вросший в землю. И верится, что через него проходит та незримая ось, на которой держится всё: и жизнь на земле, и просторы Вселенной.

«Вжи-и-и-ик! Вжи-и-и-ик! Вжи-и-и-ик! Вжи-и-и-ик!» – поёт коса, повинуясь дирижёру разнотравья. За утро ей предстоит сыграть героическую рабочую симфонию: на доброй половине покоса сложить грубые, одиночно растущие травы в плотные и ровные волны.

Э-э-эх, раззудись, плечо, размахнись, рука! Пот струйками стекает по лицу и спине, рубаха промокла насквозь, хоть выжимай, но богатырь-дирижёр не обращает на это никакого внимания. Он захвачен делом, ему нипочём ни застилающие глаза солёные капли, ни колючие семена, забивающиеся под рубаху, ни облако гнуса.

«Вжи-и-и-ик! Вжи-и-и-ик!» – проступает сквозь сон звук отцовской литовки. Я ощущаю его сладкое монотонное баюканье; он не пробуждает, а напротив, всё глубже вовлекает меня в пучину сна…

Чудится, воткнул богатырь в землю-матушку свою литую помощницу, гикнул-кликнул – и стал пред ним конь вороной, красоты невиданной, силы неслыханной!

Гриву и хвост ветер кудрявит; пышными, ядовито-смоляными волнами льются они по телу. Кожа на солнце синим цветом отливает. Оком – чёрным жемчугом – косит; ноздри в огромные воронки раздувает.

Хочет конь косточки застоявшиеся поразмять, копытом мощным бьёт в нетерпении. Из-под него искры огненные сыплются, а из ноздрей уже пар валит!..

Прыгнул Илья Муромец в седло, взвился под самые облака – и поскакал меж громов и молний в седые дали, за высокие горы укрощать Соловья-Разбойника…

Вот и солнце входит в зенит. Теперь никакой работы! Полпокоса лежит побеждённым, остывает после смертельной схватки.

«Карр-р-р-р!» – вещает об исходе гигантской битвы невесть откуда взявшийся растрёпанный старый ворон. Вцепился когтями в обомшелый от времени и дождей забор, вжал голову в плечи, нахохлился, взирает на поле брани... Словно исторг из себя слова великого стародавнего пророчества – и сам себе не поверил, окаменел от ужаса, не может и слова молвить.

А отец весел! «Коси, коса, пока роса. Роса – долой, и мы домой!» – приговаривает он, проводя по стальному лезвию брезентовой рукавицей. Ловко вскидывает инструмент на плечо и направляется к крыльцу: литовку пора подточить!

Он садится с молотком к самодельной наковаленке, прилаженной на высохшем еловом пне. Начинает отбивать косу – ещё больше расплющивать её острый край, вытягивая по всей длине подзатупившееся в неравной битве с травой стальное полотно. Звонкие удары, похожие на перезвоны небольших колоколов, разлетаются по всему переулку, далёким эхом убегают к реке, отдаются за горой: «Вста-вай! Вста-вай! Вста-вай!».

Какой уж тут сон?!

– О! Спящая царевна очнулась! – улыбается отец, подытоживая заточку литовки мелкозернистым камнем-наждаком.

Я смотрю на него, украшенного бисеринками пота, разгорячённого работой, но довольного, на острое отточенное лезвие, на котором играет солнечный луч, и не перестаю удивляться: каким чудом ему, городскому жителю, удалось сохранить деревенские знания и умения? В воспоминаниях ли, в мышечной памяти, в генетической сокровищнице крестьянского русского рода? И ведь делает всё толково, добротно, «на века»…

В прошлом году, помнится, рукоять от литовки рассыпалась – новую смастерил из молодого ивового стволика: аккуратно ножом обстрогал, удалил лишнее посередине, перегнул, крепко замотал бечевой пружинящую гибкую древесину. Вновь запела литовка! Новоявленную рукоятку от родной не отличишь! Прочно сидит в пазике, сияет, как и само жёлтое древко, отшлифованное до блеска отцовскими руками.

– Эх! На острую ко́су много сенокосу! – щёлкает отец по отточенному лезвию, как точку ставит.

Литовка его – дело особое. К ней не подходи! Она всегда в отдалении, на теневой стороне дома. Стоит, будто часовой на посту, прислонившись к почерневшим от времени венцам. Посмотришь – сразу не разглядишь: уж больно ловко скрывается она за разросшимся кустом красной бузины. А он будто создан для того, чтобы неприятным запахом цветков и листьев отпугивать чужих, укрывать инструмент от неумелых рук, шкодливых мыслей и шального взгляда.

«Ли-тов-ка», – протяжно перебираю я внезапно раскрывшиеся звуки. Даже в имени её – песня. В ней одновременно переливаются упругие, натянутые на разрыв, гитарные струны, церковный колокол и литавры: «Ле-ло-ли!».

«Ли-тов-ка… Почему такое название? Или это её национальность? – размышляла я. – Наверное, только в Литве литовки делают, потому и литовкой она зовётся. Видать, мастера там знатные, руки золотые». И мне представлялся озорной праздничный танец литовских умельцев в милых шапочках и национальных костюмах, в дивно изукрашенных ручной вышивкой жилетах, льняных поясах и передниках. Прямо на поляне они втыкали в землю острые литовки и лихо кружили своих подруг возле каких-то глиняных горшков, расписных тарелок, ваз, плетней, янтарных бус, сырных головок, ещё чего-то невообразимого…

Позднее я догадалась, что дело вовсе не в Литве. Литая она, литовка. Отлита из прочной стали. И стало вдруг пусто и грустно от нахлынувшей прозы жизни…

Всякий, кто дорос, спеши на сенокос! Скоро и нам всей семьей, как только солнце просушит верхний слой травы, браться за деревянные грабли и вилы, ворошить-взбивать ароматные волны. А там и до сбора сена, до метания стогов, до самодельных брезентовых волокуш и жердей – рукой подать! Пока же можно немного расслабиться, вдоволь насытиться запахом свежескошенной травы, подступающей сыростью вечера и вновь послушать вечерние песни неутомимой литовки…

Я люблю выходить на усталый, успокаивающийся от палящего зноя и будничных хлопот скошенный луг. В пёстром простеньком платьице, в шлёпках на босу ногу. Острые срезы травы покалывают стопы. Немного тревожно: вдруг наступишь на змею? Или жук неожиданно приземлится на неприкрытое тело? Страх прикоснуться к неизвестному будоражит, но внутренний голос мягко воркует: «Ты же ненадолго! Всего на полчасика...».

Как же здорово взобраться на самую вершину косогора и провожать солнце, потихонечку скатывающееся за зелёные пирамиды гор! Глядеть на его рыжие отблески, жмурить глаза и размеренно качать головой из стороны в сторону, вызывая к игре озорные радужные зайчики! Секунда – и они уже заискрились, ожили на ресницах, сложившись затейливой мозаикой калейдоскопа.

Люблю идти вслед за отцом, осторожно переступая через стройные травяные волны, чтобы ненароком не нарушить их. А ещё – аккуратно вынимать из скошенных валков цветы, не успевшие понуро опустить любопытные головки, вкушать их дикий, волнующий, до помутнения в голове аромат, плести венки и составлять букеты.

Люблю наблюдать, как дворняга-пёс, лениво развалившийся на крыльце, вдруг, завидев меня, потянется, зевнёт, отряхнёт шерсть и трусцой поплетётся в мою сторону. И вот уже он окончательно ожил: виляет хвостом, носится по лугу с помокревшим носом! То мышь почует, то птичку, то зайчонка заприметит, то ежа. Как найдёт – зовёт хозяев звонким призывным лаем. Смешно подпрыгивает, застывая в воздухе знаком вопроса, истово роет глубокие норы, рвёт зубами коренья, фырчит. И, вконец опьянев от восторга, прилива незнакомых звуков и запахов, норовит попасть под косу.

Отец одаривает барбоса крепким словцом. Но, заприметив меня поблизости, приветливо машет рукавицей:

– Иди скорей сюда! Смотри, что тут!

И я, заинтригованная его очередной находкой, пугая кузнечиков, опасливо пробираюсь по колкому лугу.

У отца всегда припасены для нас настоящие природные чудеса. Он словно их достаёт из брезентовой рукавицы! С воодушевлением, как ребёнок, исследует мир, радуется маленьким открытиям и щедро дарит их близким. Приступая к косьбе, ведёт себя предельно осторожно: боится выкосить гнездо мелкой пташки, обнажить чью-либо норку, поранить незадачливую лягушку. Аккуратно обходит земляные муравейники, «живые» кусты и кочки. Подчас в дальней части покоса остаются целые обитаемые острова. Мы точно знаем: на этих нетронутых околках кто-то живёт. Может, неведомая нам пичуга, у которой в кладке – небольшие пестренькие яички, или её соседка, пестующая свои голубенькие. А может, осиный рой! У каждого – своя семья, особое гнездо, где с большим трудом организован и скрыт от посторонних глаз целый мир, разорять который мы не вправе.

На этот раз отец заприметил пару особенных серо-голубых мотыльков. Они порхали, часто-часто перебирая крылышками, над ещё не скошенными розовыми звёздами кукушкиного цвета. Я долго следила за их торопливым полётом, слушала, как шелестит покоряемая ударами литовки трава…

– Па-а-ап, а па-а-ап! Сказку расскажи! Только страшную! – клянчим мы с братом, как только стемнело.

– Про то, как бабка Яга своих пленников в подполье держала да кашей из кожных струпьев кормила…

– Не-е-ет! Пусть лучше про Соловья-разбойника расскажет! Как Илья Муромец ему глаз стрелой – раз! – и выбил! А потом скрутил в бараний рог – и в мешок!.. Или лучше про смерть Святогора в дубовом гробу с цепями.

– Ну-у-у! Это уже слышали! Пусть новую расскажет!

– Новую?.. Тогда быстро под одеяла! – командует отец. – Расскажу вам про коня Ильи Муромца.

– А она страшная?

– Ещё бы!.. – почти шёпотом, жутковато выдыхает он.

Тусклый свет керосиновой лампы выхватывает лишь уголок комнаты, преломляется в мутном, с утратами амальгамы, старинном зеркале, оставшемся от старых хозяев. Гигантские тени подрагивают на пустых белёных стенах деревенского дома. Слышно, как во тьме поскрипывает сорванная ветром ставня. Кажется, кто-то страшный уже заглядывает в окно через кисею занавески. В голову лезут разные мысли, почему-то вспоминается ворон: сидит ли он на дряхлом заборе при луне?

Мы вжимаемся в матрасы и замираем под байковыми одеяльцами…

Давным-давно это было. Так давно, что начнёшь считать – не досчитаешься, начнёшь вспоминать – всего не упомнишь.

Жил на белом свете славный богатырь Илья Муромец. И было ему в ту пору пять годков. Только выглядел Илюшечка на все десять, ибо сила в нём кипела богатырская. Пойдёт, бывалочь, на улицу с ребятнёй позабавиться, силушкой немеряной померяться – и двенадцатилетних, и старше на лопатки уложит.

И всё бы хорошо, только не было у Ильи коня ему под стать. А что за богатырь без коня?

Прознал он как-то, что в конюшнях стольного князя Владимира Красно Солнышко жеребец народился красоты невиданной да силы неслыханной. Сам вороной масти, хвост и грива кудрявые, длинные, аж до земли достают, чёрные, как ядовитая смола. Кожа на солнце синим цветом горит; ноздри в огромные воронки раздуваются. Зубы крупные, что жемчуг заморский. Око – омут озёрный; тёмное, всевидящее. Копыта – что столбы каменные. А по силе нет ему равных: три горы легко передвинет!

Шла молва, будто бы власть над конём получит тот, кто из хвоста его волоски выдернет да хлыстик-плёточку сделает.

И вздумалось Илюшечке умыкнуть Воронка из княжеских конюшен. Завладеть им путём нечестным, воровским. Выгадал Муромец времечко, пробрался через лаз в заборе на конный двор. Видит – кони княжеские у яслей свежескошенное сенцо жуют, а в отдалении Воронок водицу тянет из золотого корыта.

Подкрался к нему сзади незаметно Илюшечка, ухватил прядь из хвоста и… как дёрнет со всей силушки!

Конь от неожиданности на дыбы взметнулся. А как понял, кто обидчик его, в погоню бросился. От ярости искры из-под копыт сыплются, пена у рта. Илюшечка метнулся через двор. Не успел в лаз прошмыгнуть, как Воронок зубами несколько дубовых досок разом ухватил! А вместе с ними – часть ноги, икру богатырскую.

«Ничего, – думал Илюшечка. – Главное – хлыстик при мне! А нога до свадьбы заживёт!»

Но недолго богатырь радовался. Хоть и добыл он конский волос, смастерил хлыстик-плёточку, никакой власти она над Воронком не имела, ибо добыто было всё нечестным путём.

А нога Ильи Муромца с той поры гнить стала…

Оказалось, слюна конская ядовитой была. К лекарям, бабкам-ведуньям, ворожеям, знахарям – к кому только ни обращались. Никто не в силах был богатырю помочь. Одно твердили: это урок ему – никогда не бери чужого!

Так и обезножил Илья, стал из года в год дома сиднем сидеть…

– А теперь – спать!..

Узорчатый регулятор керосинки привычно скрипнул под рукою отца, и комната утонула во тьме…

2015 – июнь 2019 года
г. Новокузнецк